

Виктор Васильевич Муйжель

Проклятие



Виктор Муйжель

Проклятие

«Public Domain»

1919

Муйжель В. В.

Проклятие / В. В. Муйжель — «Public Domain», 1919

«Когда Петровским постом, в праздник, была подана на обед уха из пойманных накануне Мишкой окуней, Феня поднесла ложку ко рту и остановилась. Противный рыбный запах легкой тошнотой сжал горло, вызывая на лицо брезгливую гримасу...»

© Муйжель В. В., 1919

© Public Domain, 1919

Содержание

I	5
II	7
III	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Виктор Муйжель

Проклятие

I

Когда Петровским постом, в праздник, была подана на обед уха из пойманных накануне Мишкой окуней, Феня поднесла ложку ко рту и остановилась. Противный рыбный запах легкой тошнотой сжал горло, вызывая на лицо брезгливую гримасу.

– Ты чего же? – чуть вскинув глазами, спросил старик.

– Сыта, не хочу...

Старуха зорко поглядела на нее. Феня сидела, опустив голову, стараясь дышать ртом, чтобы не чувствовать этого отвратительного для нее запаха вареной рыбы.

А вечером в тот же день, когда она ложилась спать, старуха пришла к ней и долго расспрашивала ее, все так же зорко и недоверчиво поглядывая. И потом сказала угрюмо, с темной и злой угрозой, как говорят иногда очень старые и брюзгливые старухи:

– Допрыгалась... Все гулянки, да погулянки, песни да посиделки... Беременна ты!..

Феня смотрела на нее остановившимися глазами, не понимая ее слов, но чувствуя, как мучительный стыд душевной волной охватывает ее.

Старуха повернулась и, охая и кряхтя, как всегда, когда была очень сердита, пошла к двери. Феня спала в амбаре и на ночь оставляла дверь открытой, потому что было там душно и крепко пахло новой кислой кожей от развешанной под потолком сбруи.

Старуха тоже не закрыла двери, и ночь глядела в светлый квадрат призрачно и таинственно, полная серебристого сумрака молодого еще месяца и звонкой, как стеклянная, тишины. Где-то, должно быть очень далеко, на какой-нибудь росистой, закутавшейся седым туманом лужайке, звучно и коротко отдергивал свою односложную песню коростель-дергач, и от этого было жутко: все спит, и темным, и неподвижным стоит лес, и поле мертво и беззвучно, и, утопая в огромном бесконечном холоде, висит молчаливый месяц, а он не спит и живет своей таинственной, ему одному известной жизнью, и одинокий затерявшийся в тишине и сумраке ночи человек слушает его с мертвой тоской в груди.

Потом Феня плакала.

Так вошло в жизнь то новое начало, что внезапно и странно изменило весь мир. Он был таким же, как и прежде, и так же вставали по утрам люди и работали, сходились к обеду и бранились, так же приходила ночь, но не приносила она уже долгожданного забытья и отдыха, а была полна новых, жутких мыслей.

И то, что раньше будило отзвук тихого восторга – обрывок песни и острые звуки далекой гармоник, доносившиеся в открытую дверь сарая ночью, – было чуждо и ненужно, и самая память о веселой гулянке на улице с молодежью потускнела и ушла, и умерла, как умерло веселое, беззаботное девичество...

Широко открыв глаза и неотступно следя за тем, как медленно и неуклонно двигался голубой квадрат лунного отсвета на полу, Феня лежала в душном, пахнущем новой кожей сарайчике, но уже не плакала. Высохли слезы, хотя хотелось плакать, и – знала – легче было бы плакать, а их не было, как будто все они собрались терпким, сухим комком у горла и давят грудь тупой безысходной тяжестью и не могут пролиться.

Внезапно и неожиданно громко пел петух, где-то недалеко, на соседнем дворе ему отвечал другой, потом третий, и еще, и еще, потом все умолкали и прислушивались. Наполненная росистым запахом пряной проростающей травы, как густое прозрачное вино в хрустальной чаше, стояла тишина, пронизанная несмелым призрачным светом месяца... И когда уже

последний отзвук странной ночной переключки замирал где-то над дремотными полями, изда- лека, словно из другого мира, знакомым и тихим эхом отзывались петухи другой деревни. И от их бледного, затушеванного расстоянием крика было жутко...

Все спят, а не спит только одна девушка и подслушивает незнакомую ночную жизнь и смотрит в светлый квадрат двери испуганными глазами, а где-то в ней в таком молодом и зна- комом теле, незримо свершается таинственная работа. И новая, требующая правда войдет – уже вошла в ее жизнь, и стала над нею терпеливая, немая и близкая.

А днем неотступно и упрямо, как злой ростовщик, всюду шла за ней одна мысль. Рабо- тала она на огороде, помогая старухе сажать капусту,нося воду и окапывая ямками бледные, слабые листочки рассады, или обряжала скотину, задавая на ночь корм, или сновала по избе за стряпней, – всегда думала о ненужности, нелепости рождения нового, неизвестного человека, которого никто не хотел и который ломал и коверкал ее нужную и известную жизнь.

Так было странно, что, вызванный из мрака, придет он и властно заявит о своем праве жить и потребует, чтобы жизнь других людей подчинилась ему...

Зачем? Да, зачем?!

II

С тех пор, как семья узнала, что произошло с Феней, с ней почти не говорили или говорили только по делу, когда надо было послать на работу или побранить за худо сделанное.

Отчуждение и враждебность стали невидимой стеной между нею и семьей, и было страшно это, потому что прежде все обращались с ней хорошо и внимательно. Никто не говорил о сватовстве, а известно было, что старик-дядя ездил уже два раза в Красноселье, и они сладились уже с лавочником о свадьбе. Она знала лавочникова сына, встречая его на гуляньях и праздниках, и такой трогательной казалась ей его робкая застенчивость, чуждая обычному озорству деревенской молодежи, так нравилась ей его скромность, то, что он не пьет, что он читает книжки и редко бывает на гуляньях. И когда она думала о свадьбе, – спокойное, немного даже гордое чувство тихо и сладко волновало ее; и часто, стоя где-нибудь между гряд или у колодца, она мечтала: выйдет замуж и будет холить этого хрупкого, задумчиво-грустного Яшу, с нежной заботливостью ходить за ним и беречь незнакомую ей, немного таинственную и оттого особенно важную жизнь его...

О том, что было, она не вспоминала. Это было недавно, но казалось, что прошли целые годы, и серая паутина покрыла прошедшее, так что трудно было вообразить живо и ярко, как это было. И того, кто посмеялся и ушел в далекий и чуждый город, тоже не вспоминала. Было, прошло и исчезло, оставив мутный осадок тайного стыда и позднего сожаления. И было время, когда это так забылось, что можно было поверить, будто этого и совсем не было. Прошло, как сон, волнующий и страшный, а потом забывшийся под сменой сегодняшних мыслей и сегодняшнего дела.

И вдруг, когда это особенно было ненужно, когда особенно мешало, – оно молча вошло и остановилось перед будущим, как неумолимый и злой сторож его.

Как чужая была Феня в семье, потому что все надеялись, что она выйдет замуж, и тогда все пойдет иначе: не будет нужды и нехватки. А она обманула, и горечь неудавшейся жизни всех выражалась упреками, бранью, презрением.

С утра все вставали хмурые и раздраженные и не говорили, а перебранивались и готовы были каждую минуту придрасться к ней. Никто не упоминал о том, что она сделала, также не говорили о несостоявшейся свадьбе, но угрюмая туча разочарования и обиды висела над домом, и всем было тяжело.

Ходил насупленный Мишка, брат Фени, работал и каждое дело не делал, а рвал и ругался нехорошо. Он был здоровый, широкоплечий парень с толстой, красной шеей и бессмысленным круглым лицом, на котором маленькие зеленоватые глазки прятались в жирных складках век. Взгляд их был туп и невыразителен, и, весь малоподвижной, он имел привычку странно подолгу упираться им в одно место, не разбирая, было ли то лицо человека, или пень, или просто пустое место. И когда он смотрел так на того, с кем говорил внезапно обрывая разговор странным молчанием, – собеседнику становилось неловко до жуткости. Что-то темное, тупое и злобное было на дне этих прячущихся зеленоватых глазок, и, глядя в стеклянную прозрачность их, невольно думалось о том, что этот неуклюжий, малоподвижной человек способен вдруг без всякой видимой причины вспыхнуть диким нелепым бешенством.

Порою он упирался глазами в Феню и смотрел на нее долго и неподвижно, громоздкий, тяжелый и страшный своим молчанием. Тогда у ней опускались руки, она отворачивалась, старалась не встречаться с ним взглядом и, отвернувшись, чувствовала, как острый холодок дальнего бессознательного ужаса сдержанной волной бежит по ее плечам.

Временами Мишка запивал. Тогда, являясь домой, он начинал буяннить и, выкрикивая бессмысленные ругательства, бил посуду и ломал скамьи. Страшно было глядеть на этого угрю-

мого человека, когда он, ухватив одной рукой тяжелую скамью, с размаху ударял ее об пол, так что летели щепки, и орал, неизвестно к кому обращаясь:

– Убью!.. Дай срок – только мокро будет! Убью, чтоб вас всех...

И тогда казалось, что он действительно кого-нибудь убьет, – убьет неожиданно и страшно.

А на следующий день он опять молчал, работал в поле и на дворе, угрюмо отругиваясь, часто и подолгу останавливаясь и неподвижно глядя в одну точку.

Сновала по избе старуха-мать, такая старая, злая и видом похожая на бабу-ягу. С тех пор, как она узнала, что произошло с Феней, она как будто сделалась еще злее и пилила ее. Убирая посуду вечером, когда Феня, стоя рядом, перетирала ее, все время грызла обидными, злыми словами, останавливаясь и грозя скрюченным, черным от грязи и застарелого загара пальцем.

– Твой грех – твой и ответ! – скрипела она брюзгливым прерывающимся голосом, – а зачем счастье терять? Мы за что страдаем? Погоди, погоди, узнаешь, как сладко-то это!.. Все гулянки да посиделки – ужо, ужо погоди,хватишь девятого венца! Не даром в Писании сказано: которые в законе по Божьему – за страдание это сорок грехов долой, а которые распутные – смертный час!.. Ужо погоди, гадюка проклятая!..

Грозила сухим черным пальцем и трясла головой, а беззубый провалившийся рот таил хитрую, страшную улыбку, в которую сложились складки мертвеющей кожи...

И от ее слов, как от молчания Мишки, было страшно. Она знала, она помнила, она, старая-старая, в жизни которой было много таких случаев, она не зря говорит... И самое страшное было в том, что никакие силы не могут избавить Феню от грядущих страданий! Где-то в глубине ее тела, медленно и неуклонно развиваясь, приближается он – смертный час!

Смертный – смерть!.. Зачем смерть? И зачем жизнь, – эта новая, неведомая жизнь, которая уже идет, приближается и будет, обязательно будет?!..

Хотелось плакать – скулить, как выброшенному на улицу темной ночью щенку, – а мрачным ходил Мишка, скрипела злобно старуха, и Нюшка, тринадцатилетняя сестренка, шныряла неслышно, с острым недоверчивым любопытством заглядывая в лицо своими темными огромными глазами...

Феня как-то хотела поговорить с ней – так, по пустякам, чтобы только поговорить с кем-нибудь, но она с’ежилась, вобрала голову в плечи и тупо и недоверчиво уперлась в нее взглядом. И на все, что говорила Феня, не отвечала ни словом, а молчала, уныло и злобно как прижатый в угол волченоч.

Так шло время и, когда не хватало силы молчать, Феня шла к старику.

По летнему времени его выселили в крохотную пуньку под корявыми и наполовину сухими яблонями, бесплодными и старыми, как он. Прежде, когда жив был отец Фени, он занимался пчелами, и в нее прятали весь прибор, а на зиму ставили ульи. Но умер хозяин – и некому было смотреть за пчелами, рои улетали, а оставшиеся хирели и погибли. Мишка стащил колоды в пуньку, набросал поверх их доски, и каждое лето выселяли старика сюда.

Старик доводился семье каким-то дальним родственником, и когда-то в старые времена, о которых все забыли, а он сам говорил редко и мало, у него были деньги. Когда все его близкие перемерли, он отдал деньги Фениному отцу с тем, чтобы его кормили до смерти. Но умер хозяин, а старый все жил и так зажился, что потерял счет годам. Когда его спрашивали об них, – он говорил разное: то ему восемьдесят, то семьдесят, то хватал за сто.

В ясные дни он сидел возле своей пуньки на полусгнившей пчелиной колоде и грелся под солнцем, шурясь и улыбаясь беззубым ртом. И когда к нему приходил кто-нибудь, рассказывал про одно и то же: как умирали один за другим члены его семьи, потом знакомые, потом соседи, потом хозяин, приютивший его, – разводил руками, морщился и удивлялся.

– А я зажился!.. Поди-ж ты – живу да живу и конца краю нет... А стар: спина на погоду во как гудет, а живу! Скажи-ж ты на милость – конца краю нет!..

Феня приходила к нему, садилась около и плакала. Сначала молча, потом начинала причитать и в этих причитаниях изливала всю наболевшую, обиженную душу. Старик молча слушал, кряхтел и кивал лысой головой.

– Жисть, жисть... Все помрем, что же... Зажился, конца краю нет!..

Может быть, он и не понимал толком, о чем плакала Феня, а, может быть, в его утомительно долгой жизни слишком много было слез, чтобы отвечать на них сочувствием и утешением. А может, он просто не слушал того, что ему говорили, занятый своими мыслями и своей догорающей жизнью... Но около него было легко, потому что не было в нем враждебности, как не было и сочувствия.

– А они-то, они, – плакала Феня, – не глядят даже... Марья намеренно встретила, фыркнула носом, морду отвортила... А прежде сама улещала – чего, мол, иди спать-то, он худого не сделает, он не такой! А теперь ищи... Кто-ж не ходит – все девки наши по гумнам с парнями спят, иначе, парни себя соблюдают!.. А он охальник... Ушел! В город, говорят, на лесном заводе... А она фырчит...

Старик качал головой и разводил руками.

– Поди-ж ты – зажился! – бормотал он сухими провалившимися губами. – Помню, как царю Николаю на престол ступить – мальчонкой тогда был, еще бунт вышел тогда – которому на царстве сидеть, тоже вот солдата нашей роты в некруты угнали... Девка-то пропита была, ладились свадьбу играть – потом не стерпела... После тот вернулся – болесть что ли в его открылась, а она-то в петлю... Давно было, страсть давно... Зажился, зажился – прямо, так сказать надо, конца краю нет...

– А тут-то – Яшечка-то – смиренный, тихонький, – плакала Феня, – книжки читает!.. Жисть, жисть какая! Да ведь не он, он не поглядел бы, он добрый, он знает как – тоже к Доньке Сибировой, хоть и тихонькой, ночевать в овин бегал, да его-то лихори... что мои злодеи!.. А ведь жисть-то какая – Господи! Книжки читает...

Она поникла головой и тихо, беззвучно плакала, а старик грел костлявые плечи и шептал что-то: может молился, а может просто жевал сухими омертвевшими губами.

А вечером Феня лежала у себя в амбаре и глядела широко открытыми испуганными глазами.

Так же голубым квадратом открытой двери глядела пахучая ночь и чутко слушала одинокие мысли. Где-то внизу, под полом, неумоимо трещала медведка, занятая своей невидимой работой. И дальняя собака, вспугнутая загулявшим, пьяно оравшим мужиком, выла надрывисто и жутко.

В темноте маленького амбара, среди развешанной сбрауи, мешков с овсом и старого, неизвестно кому нужного хлама, сваленного в углу, был еще кто-то, кроме Фени.

Неведомый и близкий, стоял он возле и ждал. Молча, терпеливо и упорно, уверенный в том, что еще придет его время, и ничто не может предотвратить его. И не имеющий еще жизни, копил ее и властно намечал пути другой жизни, такой заброшенной, одинокой и тоскливой.

III

Уже пришло лето – незаметно подобралось полными работы днями – и жарким солнцем стало посреди неба – темного, глубокого и сверкающего. Стали безросыми сухие короткие ночи, и пьяным ароматом увядающих трав дышала нагретая за день земля; и не успевала отдохнуть, как на востоке властно и быстро загоралась пылающая заря.

Спали мало, а много было работы; незаметной чередой полных дней, в которых не было свободной минуты, придвинулся покос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.